



VOLNÉ KOZÁCTVO LES COSAQUES LIBRES

Иллюстрированный двухнедельный журнал литературный и политический.

(Vychází 10 a 25 každého měsíce).

Редактор И. А. Вильи.

Редакция и администрация: Praha-Vinohrady, Hradecká, 2207. Tchécoslovaquie.

№ 80

Воскресенье, 10 мая, 1931 — Неделя, 10 травня, 1931.

№ 80

И. М. Назаров. (Книжевец).

С О Н.

Посв. И. А. Б.

Моей госке порой предела нет,  
Изгнанье кроет мир зловещей целеною,  
В нависшей тьме безрадостный рассвет  
И крадется, как тигр, отчаянье за мною.  
И я не шел бы в даль... Не нес бы гнет могил  
Разбитых грез в пути их млечном.  
Все сбросил бы в одном порыве сил,  
Чтоб все забыть в забвеньи вечном...  
Но есть одна мечта, один прекрасный сон:  
Что будет день и он придет, великий,  
Он позовет на бой в степной туман, где Дон  
Течет и где без края — дикий  
Простор степей... По берегам реки —  
Серебряный ковыль с отливом медной брони,  
По ковылю бегут оседланные кони  
С кургана на курган и строятся в полки.  
А вот их всадники... Со всех сторон их строй —

Они спешат со всей земли в родную  
Донскую степь, чтоб дать последний бой  
На жизнь и смерть... И сходятся вплотную  
Две раги там: одна — зарыта в рвах,  
Вся пешая, вся серая, земная.  
Другая — конная на белых скакунах  
Открыто в рост несется, наступаая...  
И начат бой... И начат смертный бой...

В крови текли седые волны Дона,  
Курганы плакали по крови огневой...  
Но, дрогнул фронт кровавого Дракона  
И знамя всадников развилось в вышине,  
В его полках зажглась победы слава...

Так грянет бой — я верю — не во сне,  
И будет создана Свободная Держава...  
... Вот почему я жду. Наперекор судьбе, —  
Не рву цепей моей гнущейся жизни...  
Я верю, что старик, поющий об отчизне, —  
Он должен жить для песен о борьбе.

Санжа Балыков. (Прага).

## Чужой Бог.

Бывает в году одна ночь, когда в предполночный час молчаливые погонщики в черных одеяниях, шелкая длинейшими кнутами, гонят на запад бесчисленный гурт всех „шести видов“ земных существ.

За ними, на громадном вороном „аринзале“, под черным шелковым балдахием, поддерживаемым четырьмя слугами, оваренный светом факелов едет седобородый, божественно величавый старик. Это уходит старый год. Он гонит пред собой души своих жертв. Страшен этот старый год в последний час своей власти. Всех встречных он умерщвляет и души их к гурту объединяет.

Через час, в снежно-белом одеянии, на белом коне, придет с востока новый год. Только час один пройдет после ухода старого и до прихода нового. И в этот безначальный час, миллионы вечистых сил выйдут из своих логовищ-невидимок и, крыльями развевая фалды черных покрывал, кружатся в дьявольском танце. Вихревой ветер начинает дуть, подымается „слепой“ буран, все вокруг няжит, трещит и скрежещет... Дьяволы царят на земле в этот полночный час. Никакое дело не удастся в эту ночь.

Бушует буран по замершей степи. Непробудно спит Болшурганский аймак; спит и его „хурул“. Стоголосо завывая на струнах ветра, оснеженной громадой высятся во мраке большой дом Менько-Ламы. Вокруг, едва различимые в пяти шагах, скривив закрытыми ставнями, разбросались маленькие домики гелюнов.

Только один человек не может спать в эту ночь. Не смыкая очей, он должен бороться с наводнениями нечистых сил, защищая грешных мирян. Святой Менько-Лама служит долгий молебен в тяжкий час мира. Тихо мерцает лампада перед золотой статуей Будды; в просторной, мертвенно-тихой комнате царит полумрак и нежно пахнет шафраном. На мягкой подушечке из красной сафьяновой кожи, по буддийски сложив ноги, накрывшись желтым парчевым священным одеянием, закрыл глаза, как мертвец побледнев от внутреннего напряжения, молитвенно сведя руки с худыми, длинными пальцами, окаменело вастыл Лама. Только по беззвучно шевелящимся губам, да по мелким каделькам пота, выступившим на висках, видно, что он жив.

Через полчаса придет новый год. Еще полчаса борьбы и придет милосердный новый год я Лама нач-

нет новую молитву, молитву встречи. Вот бесшумно отворилась дверь. Мягко, неслышно ступая босыми ногами по бухарским коврам, вошел маленький, белолицый, дежурный манджик из передней и, дождавшись, чтобы ватавший дыханье Лама перевел дух, робко доложил: „Ламин зергесе“ — к наружным дверям человек пробует ключи...

На пергаментном, костлявом лице Ламы не дернулась в жилка, не раскрылись даже веки закрытых глаз; только пальцем указал он манджику место возле себя. Только окончив длинную, напряженную молитву, когда грозный старый год, жадный в свой последний час, канул в вечность с своими жертвами, а новый вступил во владение миром, открыл он глаза и грустно сказал: „Иди манджи спать, они ушли“ и опять погрузился в молитву-заступницу за мирян перед духом нового года.

— Подсудимый Яков Матузков! громко вызвал судья, играя правой рукой судейской цепочкой и, через стекло очков, окидывая взглядом скамью подсудимых.

Из трех человек подсудимых поднялся громадного роста, сутулый, курносый, с веснушчатым лицом мужик, с целой копной перепутанных рыжих волос на большой голове и басом отвечал:

— Я!..

— Первого мая сего года, в 11 часов ночи, вы пришли к старшему полицейскому стражнику слободы Мартыновки Василию Беляеву, признались ему в совершенных вами и вашими товарищами преступлениях и просили вас арестовать. Это правда? — спросил судья.

— Так точно, доподлинно верно, господин судья, дозволейте рассказать...

— Подождите, Матузков. На другой день, по вашему же показанию, как причастные к тем же делам, были арестованы: крестьянин временного поселения на юрте Денисовской станицы — Ряски — Сидор Савельчук и крестьянин временного поселения на юрте той же станицы — Гарбузовки — Арсентий Михайлов...

— Верно, господин судья, — отвечал Матузков.

— Теперь расскажите суду о ваших делах, все подробно, по порядку, не волнуйтесь, не спешите, — сказал судья.

Яков Матузков кашлянул, встряхнул могучими плечами, точно сбрасывая тяжесть и, заметно волнуясь, хрипло начал:

— Господи Иисусе Христе, сыне Боже наш... (подсудимый широко и медленно перекрестился). Господа судья, присяжные старики и вы, честной народ!.. грешен я, и во всем виноват; каюсь я, как перед Истинным, судяте меня судом божеским и людским... Скоро год будет, как пришел тогда этот Мирон Гвоздев, постояльцем у меня стал, говорил из Москвы он родом. Вот он самый, за один месяц, из человека дутегиба меня сделал. Уговорил ездить с ним, пограбить богатых калмыков по соседним станицам и хуторам и стать богачами. Я и соблазнился. Потом с'ездил он в Ряску, неделю-две там побыл и Сидора, азначат, там примолвил, а в Гарбузовом — Арсентия и Давида. И собралась нас шайка в пять человек. Мирон, навроде атамана у нас стал; убить нас любого мог. Я был у них, как-бы, завсегдашний подводчик, потому у меня пара лошадей и бричка. Вот поехали мы осенью на первое наше злодейство. А только тут главная вина на меня падает, потому я этого калмыка им указал, потому как служил у него три года работником и знал про богатость. Ночь выдалась темная, (постепенно рассказчик успокоился и начал свято говорить) что в двух шагах ничего не разглядеть. До полночи еще под'ехали к хутору Боглаеву. А двор того калмыка был отдельно от хутора, с краю и в балке. Я должен был при подводе оставаться, да ребята решили, что мне надо идти, потому как меня их собаки знали и хозяин мог мне дверь без шума отворить. Ну, все так и вышло. Собаки было кинулись, а когда я водал голос и навал на них, то они стали ластиться. Сын его с молодой женой жили в землянке во дворе, у их дверей оставили Арсентия с ломом, а сами — я, Мирон, Сидор — пошли к дому, а Давид остался при подводе. Постучал я это в дверь, слышу — вышел сам хозяин и спрашивает из за двери по калмыц-

ки — кто, мол, я такой. „Джурьджуха Мангатыч — говорю ему — нуги переночевать, поудно схал домой и к тебе заехал, я — Яков“. „А!.. Яков, здоров буд, здоров буд, пожалста ночуй“ — отвечал он, открывая дверь. Только это он открыл дверь, и Сидор и хватил его по голове ломом... И не охнул старик. Хороший был человек.

Мужик опустил голову и сильно вздохнул, очевидно вновь переживая картину, потом покачал головой и продолжал:

— Когда пошли дальше, у бабки уже горела лампа. Увидев Мирона с револьвером, она начала кричать. Тут Арсентий полоснул ее ножом по горлу. На крик матери выбежала дочь. Уже большая, невестой была, и как закричит: „Яков!.. что делаешь!“ Ну, у меня рассудок и помутился, хотел я и ее пырнуть скорее ножом, да Мирон мою руку отвел. „А кто — говорят — деньги нам укажет?“ Ну, стали ее расспрашивать про деньги. Ничего не говорит девка, словно рыба. Стали ее подкалывать кончиком ножа, мучить, чтобы выпытать. Молчит девка, только стиснула зубами нижнюю губу и мычит от боли. Долго над ней так возились. Под конец, когда уже она зачала от истечения крови сомлеть, Мирон догадался: „Ежели — говорит — не скажешь, где деньги, то пойдем в землянку и уьемем твоего брата с женой!“ Девка сейчас же указала. Тут уж прикончили мы ее, узяли деньги и вышли. Все гладко прошло. Никто про нас и не подумал. А денег потом насчитали много; богатый был хозяин; были сотовельные бумажки, было и золото. Дал нам Мирон по тыщи рублей, а остальное забрал себе. Ну, нам и того было довольно, потому тыщи рублей это деньги. Начали молчаком жить и хозяйовать. Думали — хоть и загубили душу, да не даром. Ан не тут-то было. Поехал Мирон куда-то на целый месяц або два, и вернулся без копейки и начал на другое нас подбивать. „Тут — говорил он — такой край, что каждый день можно грабить, а у меня уже деньги кончились“. Да на этот раз он задумал новое дело. Узнал он, что у калмыков есть богатющий Лама, и денег в банок не отвозит, а держит у себя. Так вот он удумал ограбить этого Ламу.

— Как же, говорю, Мирон, это возможно, лицо — говорю — духовное, хоть и другой веры, он, говорю, у них, как-бы святой, вроде архиерея нашего, нешто можно его трогать?

— Дурак, отрезал Мирон, нешто он православный христианин, нешто у них могут святые быть, басурманы же ведь, а ты — грех!.. Чужой Бог нам не указ.

Ну, мы и сдались ему, так и порешили — к Ламе калмыцкому наведатца. Мирон, чтобы все доподлинно разузнать послал Арсентия в станицу, покрутитца там промеж калмыков, якобы работы ищет, а тайком все вынюхивать. Был там Арсентий целый месяц, бывал у хуруле ихнем, где Лама самый живет, был кучером у одного поца, гелюна, по ихнему, да и вернулся... Вернулся и доложил, мол, ограбить Ламу — пустяковое дело, никто его не охраняет, а денег прямо сто тысячев. Говорит надо как раз в „черную ночь“, когда по их вере, старый год уходит и вступает новый. В ту ночь никто не выходит на двор. Так и порешили. Дождались этого дня и к ночи выехали. Все пошло ладно. Мятельница такая ночью поднялась, что рта не раскрыть; сверху идет; ветер крутит; погода самый раз: следов никаких не будет. Под'ехали к хурулу. Я остался при конях, готовый сию на бричке, а они пошли. Как будто не долго я и ждал, а только вижу — идут трое и что-то несут. Неужто столько денегов — думаю — набрала, а они подходят и кладут мертвеца на воз, сами садятся и говорят — гони Яков, не повезло! Вижу, что дело табак, я и погнал коней... А дело-то оказывается вот как обернулось: сперва зашли напн в сарай, постояли там, а потом Мирон пошел к дверям пробовать ключи (у него целая сумка их была), а те стоят и тихонько перешептываются у двери сарая. Один ключ Мирон подобрал, дверь открыл и пошел к товарищам, чтобы начать орудовать. А те значат, чи не ожидали его так скоро, чи цо, а только как показался он у дверей неожиданно, Давида и хватил его ломом по голове. Ну, башку и разможил, как арбуз. А потом, как опупали, присветили серничком, да и увидели, что ухлопа-

ли-то своего атамана. Так дело и кончилось ничем. Мирона спустили под лед в Сал и раз'ехались по домам. Родных у покойника не было, спрашивать некому, человек заезжий. Весной на пахоту выехал, успел, но дело-то этим не кончилось. Стал Арсентий нас подбивать — снова поехать к Ламе. Плёвое дело — говорил он — теперь у нас не выйдет по дурацки, ну, поедем и поедем. Мы и поехали... Только я на этот раз вышло так, что Даниду трупом пришлось обратно везти. Пошли на этот раз все сразу к дверям, чтобы ломать, ключей-то Мироновых уже не было, тогда еще они остались на месте убийства, а при конях оставили Данилу. Ночь была темнущая, дело — весной, после пахоты, тепло. Подошли это мы к дверям и начали домом высаживать дверь, чтобы потише было, а она не поддается. Копаемся мы это, вдруг, как обернусь я — человек в длинном прямо ко мне подходит. „Гелен“ — мелькнуло в мозгу; я и крикнул его шворнем по голове. Пошутили его, а он — наш Данила. Тут всех нас страх и взял. Бросились мы бежать к подводу, было — меня не бросили. Вскочил и день целый помал я голову над этим делом, а ночью вто-

рого дня пошел я к стражнику. Понял я, что есть Бог, который один и для калмыка и для христьян. Все Боги наказывают зло и ничью кровь даром нельзя лить. Вот я и решил тогда признаться и на Арсентия и Сидора указать, чтобы и они искупили грех свой перед Господом за душегубства. Винават я, господа судья, и вечно меня жалеть. Больше я ничего не имею доложить.

Подсудимый глубоко вздохнул, рукавом оттер пот с лица и устало опустился на скамью. В переполненном зале суда царило напряженное молчание. Рассказ мужика ошеломил всех. Только невозмутимый судья продолжал:

— Подсудимый Сидор Савельчук, что вы можете сказать по этому делу?

— Я ничего не скажу, а только Яков все правильно доложил, как все оно было.

— А вы, Арсентий Михайлов?

— Винаваты мы, господа, все доточности так было.

После кратких формальностей, присяжные ушли на совещание.

Я. Рудик. (Прага).

\* \* \*

Хтось простяг з блакиті руки золоті,  
Розстила килими смарагдові скрізь.  
Вже сяють ранком діаманти сліз;  
Задзвеніла пісня в синій висоті.

Закопали б в землю руки із висот, —  
Не носив би в грудях тугу навісну.  
Проведу в дорогу без жалю весну, —  
Не загоб рани чарами красот!

29-IV-1931.

Алексей Персидсков.  
(Братислава).

ВЕСНА.

Меня опять весна улыбкой обдарила  
И светлую надежду возродила вновь.  
Бьет снова жилами расплавленная сила,  
Гнездится в сердце крепкая любовь.  
Прощай, зима! под солнцем все сгорает...  
Ты отснежила и тебя уж нет:  
Струится окнами и зайчиком играет  
В зеркалах отраженный свет.

16-III-1931 г.

Вадим Курганский. (Белград).

## На Туреччину...

Свистел ветер в снастях, жалобно и назойливо — у-у-у-у!.. Бежали мимо урчащие волны, носы „чаек“ мерно вздымались и опускались... Раз — и открывалась перед глазами далекая ширь темно-синего моря, с разбросанными белыми пятнами барашек... Два — в острый, режущий волны нос взлетал вверх, к голубому, тоже с белыми пятнами — облаков, небу... И снова — раз-два, раз-два...

Паруса вздувались упругими полушариями; как резиновые прыгали по волнам, накрываясь на бок, легкие чайки... Позади таял, удаляясь, берег, озаряемый косыми лучами только что взшедшего солнца...

На чайках угрюмо молчали... Не звучали лихие запорожские песни, не слышалось удачных выкриков молодежи. Угрюмо сидели вдоль бортов, только изредка оборачивался кто нибудь назад, бросал долгий взгляд на исчезающий берег и снова с тяжелым вздохом поворачивался.

На Туреччину!..

Прощай Січ — рідна!.. Надолго... навеки быть может прощаются с Тобою, Тобою вскормленные сыны... Зруйновали!..

За службу верную, за борьбу нещадную, на все стороны, одни без союзников и без помощи — сотни против тысяч, за войну вечную, за жертвы безмерные... У-у-у-у — заливался ветер...  
—

Вставало в памяти:

Глухо шумит стоголосым шумом большая Сичевая площадь... В середине — возле лятавр — старшина — кошеной, с понуренной головой, растерянный писарь, судья, куренные... А вокруг — сплошное, волнующееся море чубатых голов, сжатых кулаков, обнаженных сабель, разъяренных и растерянных лиц... Дальше — низкие строения куреней, земляной вал, серебристая лента Днепра, а еще дальше — шеренги зеленых мундиров, шетина штыков, черные провалы пушечных жерл, дымки фятелей в утреннем воздухе...

Зруйновали!.. Эх — в сабли б принять, раскрошить, разметать по сторонам. Да ведь знали, что делали — ночью, тайком оцепили Родимую со всех сторон... На одного казака мал-мало 20 солдат пришлось... а пушки?..

Мерно вздымались чайки, прыгали по волнам. Вперед на Туреччину, под руку султана турецкого — хоть нехристь, да понимает.

Как ни зорко глядели московские очи — да нот проглядели... Если б все твердо на одно сошлись — любовались бы сейчас москали на пустые курени, с одними жилами-торговцами... Да ведь страшно, страшно идти на чужбину...

Ветер все усиливался, гнал вперед чайки... Исчезал вдаль берег... Прощай Мать, прощай Січ — Рідна!..

На Туреччину!..